

Галина Щербакова

Митина любовь

...бесстыдность чистойшей невинности...

И. Бунин

Не про нас... Мимо...

Однажды я рассказала своему приятелю, что временами, ни с того ни с сего, на ровном, можно сказать, месте у рукописи начинают заворачиваться углы. Я объяснила приятелю, как я выравниваю их своим рабочим локтем, выравниваю и держу, а уголки потом сворачиваются уже не просто так, а со свистом...

— Это тебе, дуре, знак, что все цивилизованные литераторы давно перешли на компьютер. Углы у нее, видите ли, свистят.

И он сделал специфический жест у виска.

Я стала выяснять все про компьютеры — где, как и почему. Но одновременно продолжала держать локтем угол живой и горячей рукописи. Это была повесть про учительницу географии, которая все мое детство лезла мне в глаза сухими шершавыми пальцами, чтоб заглянуть под веки, а потом, клацнув зубом, объясняла маме бесспорность моего недолголетия.

Учительница пахла свежеструганными досками, а это было для меня тогда запахом гроба. Хоронили прадедушку, во дворе стояла крышка и остро пахла, как мучительница географии. Одним словом, мы обе, прикасаясь друг к другу, содержали в себе некую информацию о смерти другого. Но если ее положение в мире по отношению к моему позволяло ей говорить, что «дит о недолговечно», то обреченное дит о сказать ей про запах гроба не могло. У дитя были строгие понятия, что можно говорить, а что нельзя.

На уроках в пятом классе учительница рассказывала нам, что степь — истинная степь в географическом смысле слова — способна скрыть травой идущих по ней в рост высоких мужчину и женщину. Малолетки, мы перемигивались, хихикали, и в нас рождалось сомнение — дева ли наша географичка, именуясь старой девой?

Вот про нее, горемычную деву-недеву, и была рукопись, углы которой завернулись, и я подумала: компьютер. Приятель прав — нельзя оставаться такой позавчерашней. Я даже кассеты в видак вставляю задом наперед. И я положила на уголок рукописи кусок чароита, который однажды нашла на дороге. Шла, шла, а под ногами — фиолетовый камень-чудо. «Возьми меня!» — сказал камень. А потом узналось — чароит с сибирской речки Чары. Как он попался мне на тротуаре в Москве? Но, взяв

его в руки, чтоб прищемить угол, я поняла: не зря заворачивается рукопись. Отпусти ее дрейфовать в прибрежных водах фантазии, кто знает, может, обернется дева-географичка русалочкой и я найду ее, выброшенную на берег, лапочку мою хвостатую, и расскажу про ту самую расступившуюся степь.

И тут меня пронзило. Как же я буду понимать глубинные подмигивания компьютера и скумекаю, что он мне заворачивает уголки? Поэтому мне нужен на столе камень, не важно, чароит он или какая каменная дворняга, но именно камень, а не диод с триодом, с которыми нет у меня общего языка, хоть застрелись. Даже лампочка Ильича мила мне, когда служит иначе — когда сидит в носке и сверкает в дырке... Мне хорошо с ней и уютно...

По всему тому, исходя из камней, степей и дырок в носке, я отвергла компьютер как предмет мне лично не подходящий. Одновременно я отвергла евроремонт и привычку есть лягушек в Париже. Ладно им всем! Единственное, что я могу сделать, — вдеть для понта в одно ухо серьгу. Но это тоже по обстоятельствам... Если уж очень приспичит.

А пока я отодвинула рукопись с завернутыми углами и вынесла принадлежащие ей вещи.

...Тетрадь по географии для пятого класса. Она, гуляющая по полю учительница, почему-то

любила письменные работы. Например, мы писали сочинение про город К о нигсберг. Чтоб вы знали — это Калининград с 1946 го-да. Но писалось сочинение в сорок седьмом, и именно про К о нигсберг и о князе Радзивилле, и я получила двойку, потому что дважды написала К о нинсберг. Двойка была больше самого сочинения... Страстная, злая... Как напоморде. Откуда я могла знать, что географичка родом из тех краев и переименование ее возмутило, как бы отняв у нее вкус и запах детства. Отняли же у меня сейчас Украину... Мне, конечно, нравится ее самостийность, я ею горжусь, но меня напрягают малые с ружьем на ее границе. Ну, не люблю я ружье. И с ним этот оксюморон — «мирная цель». На границе я себя ощущаю.

В общем, стала я выкидывать географический скарб — и мало не показалось...

В возникшей пустоте гуляло, как хотело, эхо... Мне кто-то умный сказал, а я поверила, что природа не терпит пустоты, поэтому я стала ждать наполнения, чтоб в пустоте что-то завязалось. Вот тогда и появился в доме бидон, который стоит у меня на подоконнике и в котором зелено подкисает вода на случай отключения московского водопровода.

Я тогда тащи́лась по улице, а навстречу мне шла моя собственная дочь с этим самым бидоном. Во-первых, тут все совершенная фантастика, хотя все абсолютно достоверно. Я тащи́лась в старом смысле этого слова, в смысле еле-еле шла, едва передвигая ноги, а не пребывала в состоянии восторга (кайфа) или наслаждения. Я тащи́лась от усталости и обострения болезни коленной чашечки, а навстречу мне шла дочь. Красивая, молодая, раскрепощенная, а в руке несла бидон.

Надо ли описывать бидон? Не надо. Он известен.

Соединить в одно целое бидон и элегантную женщину в легких летящих одеждах, вкусно пахнущую то ли «пленэтьюдом», то ли «проктер энд гемблом», невозможно, но это все невозможное идет мне навстречу. Пока я совмещаю в голове несовместимое, моя дочь с партизанским гиком кидается ко мне и всучивает мне бидон. Я понимаю, что девочка давно несла в себе мысль о несоответствии себя и бидона, и вручение мне бидона было идеальным выходом из положения: все-таки, что ни говори, он мне личил больше. Или там хорошо в меня вписался.

Вот в этот момент — допускаю — и началось сворачивание страниц на моем столе.

Недавно некий ведущий в телевизоре благостно-противным голосом объяснил нам, дуракам, что неправда, что стихи растут из сора, у него лично не так... Подтверждаю. Они, эти чудики, растут и из бидонов, и из больных коленок, они не ведают стыда ни от чего, потому что сам процесс рождения для них свят. Да ну его, ведущего... Главное — другое. Я стою и уже держу бидон.

— Ты знаешь, — кричит мне дочь, — у метро его продавала такая хрупкая, интеллигентная, печальная бабушка. Я отдала ей за него пятьдесят тысяч. Конечно, я переплатила. Но ты ведь меня понимаешь? Да?

Я молчу. Я слышу, как на шестнадцатом этаже моего жилья утихает эхо. И еще я перевожу пятьдесят тысяч на старые цены.

Это тяжелое заболевание — считать на несуществующие деньги, подавать тысячу и ждать сдачу, как с десяти.

Я понимаю, как они заходятся, придумщики нового счета, глядя на наши трясущиеся пальцы. Мы — как та батарея Тушина, про которую им хочется забыть.

С этим чувством я покупала билет в Ростов, где живет моя сестра Шура. Одна дама из Минкульта давным-давно объясняла мне научную

силу «зигзага», петли в сторону. Когда все вываливалось из рук, мол, самое время купить билет. Я дала отбой панике и пошла покупать. У Шуры поспел день рождения, у меня душевный и всяческий кризис, черт знает что может получиться из коктейля нервов и радости.

Было еще одно. Полтора года назад, «до заворачивания углов», произошла трагедия, в которую я была глупо вляпана. Слова плохие, нетрагедийные, но ничего не поделаешь, именно так и было. Временами я винила ту беду за свои последующие неудачи, а потом била себя по башке за свинство таких мыслей.

Поездкой к Шуре я хотела изжить этот грех и просто убедиться, что жизнь идет своим чередом.

Поездка случилась тихая до противности. Разговоры переговорили быстро, пошли по новой, к старому никто не возвращался, а когда уже в пятый раз стали мусолить подлость коммунистов и свинство демократов, я поняла: надо бечь, чтоб не взрастить раздражение уже к Шуре, которую я нежно люблю, и не виновата она, что я нагрузила родственную поездку к ней подспудной задачей, а теперь, как дура, жду незнамо чего.

Тут и позвонила Фаля.

Полтора года тому мы с ней попрощались

навсегда. Во всяком случае, я была в этом уверена. После такого горя, думала я, старуха не выживет. Хотя все это чепуха. Люди живут странно: они могут пройти через невозможные потери, а могут не пережить хамство соседа. В этой жизни количество горя не аргумент ни для чего...

Тем более что количество его и степень не имеют определения. Сразу скажу — смерть отдельного человека в тройку претендентов на лидерство по горю могла бы и не выйти. Ну что тут сделаешь? Такие мы.

— Сходи, — сказала Шура, — а то будет звонить и конючить...

Что-то во мне торкнулось, как будто ворохнулась живущая внутри птица. Но тут же все усмирилось, я вполне могла объяснить торканье причудами того полушария, которое отвечает за дурь и фантазию.

Была неловкость в том, что сама я Фале звонить не собиралась. Это говорит дурно обо мне, и только. Хотя и хотела посмотреть на то, «как стало». «Нечестно поступаешь», — сказала бы моя маленькая внучка. Так она определяет сверхплохое.

Нечестно.

— Господи! — говорит Шура. — Ну ничему нас жизнь не учит! Ничему! Иди уж к ней, иди! Ну что мы за неучи такие проклятые! Что мы за

идиоты?

Митя начинается с этого ключевого слова.

Со слова бабушки:

— Митя, ты идиот!

Было у него замечательное качество: он покупал на базаре самое-пресамое не то — исключительно из чувства жалости к продавцу. Он приносил траченные жуками листья щавеля, червивые яблоки, тапки, сшитые на одну ногу, картины, нарисованные на еще неизвестном человечеству материале, он покупал рассыпающиеся мониста — одним словом, все, что было «нэа тебе, Боже, что мне не гоже».

— Такая старенькая бабуля, — оправдывался он. После чего моя бабушка произносила безнадежное:

— Идиот ты, Митя! Круглый!

То, что в моей дочери однажды вдруг взбрыкнул дяди Митин ген и она купила ненужный бидон, вся ошеломительность такой возможности, конечно, отбросила меня на десятки лет назад.

— Знаешь, — сказала я, — у тебя был родственник, который очень хорошо бы тебя понял. Митя... Да я, по-моему, тебе рассказывала...

Дочь делает поворот кругом.

— Мама! — кричит она. — Я забыла. Мне в

другую сторону!

Ну конечно... Она «сдала» мне бидон. А мои истории ей даром не нужны.

Я его несу. Я несу бидон, как беременность... Время расступилось... Я запросто вошла во вчерашние воды. Какой дурак сказал, что это невозможно?

Моя мама пикантная женщина. Она рисует себе на левой щеке мушку. Ступленный огрызок черного карандаша лежит в саше. Я подставляю табуретку, достаю карандаш и рисую на щеке нечто черное и жирное. Потом беру помаду и щиро, от души малюю себе рот. (Из меня так и прут украинизмы детства, которые можно вырвать только с кровью. Так вот, «щиро» — это щедро, если хотите — жирно.) Оторваться от такой красоты невозможно, и я увеличиваю ее в объеме. И понимаю невозможность остановиться, ибо красоты никогда не может быть достаточно.

Потом это во мне и осталось: все, что я делаю в первый раз, я делаю «густо намазанным». Первую увиденную дыню я съела одна — не могла удержаться. И ненавижу с тех пор дыни. Когда-нибудь я напишу «Историю первого раза». Но это я сделаю потом, а пока я на табуретке и нечеловечески прекрасна. Глаз от себя не оторвать. Такую красоту нельзя таить, ее надо предьявить

человечеству.

Счастливо выдохнув, я слезаю с табуретки и иду в люди.

На крылечке стоит вусмерть выкрашенное дитя. Я вижу восторг (или ужас?) мамы и бабушки и то, как они с криком бегут ко мне, а наперерез им бросается Митя. Он хватает меня за руки, сажает на плечи и уносит вдаль. Я получаю главный женский опыт. Сверхсчастье — быть красивой и уносимой на руках мужчиной.

Как все помнится! Как чувствуется! Я знаю точно: женское в девочке есть сразу.

В конце сада стоит ржавая бочка с дождевой водой. Митя подносит меня к водяному зеркалу: в нем я выгляжу еще лучше! Я смотрю, замерев от восторга, а Митя мне шепчет, что надо умыться, чтоб не украл упырь, он на красоту падкий, хорошенькие девочки — это ему самый цимес.

«Цимес» я понимаю. Поднеся деревянную ложку ко рту с борщевой жижей, бабушка причмокивает и говорит: «Цимес!» Так и упырь причмокнет, глядя на меня.

Я замираю над строчкой. Я должна разобраться. Звоню одной из своих умных подруг:

— Слушай, а цимес — это что?

— Изюм, — отвечает она.

Она у меня девушка без сомнений, поэтому ее надо обязательно перепроверять. Звоню другой.

— Курага, — отвечает другая, очень осведомленная в искусствах и науках.

То-то и плохо. Осведомленные врут больше всех.

— Выпаренный сок цитрусовых, — говорит третья, тоже из горнего мира литератур.

Я нажимаю на виски. «Виски! — говорю я им. — Тут что-то не так...» — «Конечно, — вспоминают виски. — Цимес — что-то совсем нелепое».

Ночью мне приснилась морковка, желтая, корявая, с невкусной зеленоватой сердцевиной. «Я — то самое слово!» — сказала она. И это была правда.

К чему этот пируэт? К тому, что ни бабушка, ни Митя тоже не знали про морковку. Что лишний раз доказывает, что все мы — чертовы идеалисты и наше глупое сознание придумывает, что хочет, и часто то, чего на свете нет вообще. Этим мы и отличаемся. Я даже подозреваю, что платье датскому королю шили русские заезжие портные. И они видели это платье, видели, черт возьми, на самом деле! А датский мальчик как раз был из местных, и у него был другой глаз, совсем другой. Дамский глаз. Он бы сроду не дал старому слову нового содержания, сроду!

Ну да ладно... Просто грешно было не объясниться наконец по поводу слова «цимес».

А теперь едем дальше, то есть совсем наоборот: вперед назад!

Мы с Митей взбаламучивали воду в бочке в четыре руки, мы смывали мою неземную красоту, чтоб не досталась она упырю. Носовым платком Митя довершает превращение красоты в обыкновенность, вытирая разводы помады под моим носом. Потом смотрит на пропащий платок и говорит:

— Ты свидетель! Это не то, что люди подумают!

Я понимаю: они подумают про Ольку.

Олька, большая, рыжая, делает уколы и пахнет болью. Возможно, она упырь... А Митя не догадывается. Я тут же начинаю плакать, а он качает меня на руках:

— Птица ты моя, птица...

В меня входит тоненькая игла — опыт женского счастья: утешающий, любящий мужчина.

Митя — странный, вневременной человек.

Он родился у старой, сорокапятилетней женщины, моей прабабушки, которая была убеждена, что у нее «краски ушли», то есть кончилась менструация. Она считала, что полнеет

по этой причине. Что живот у нее «возрастной». А Митя возьми и выбулькни. К этому времени моя бабушка носила младшую мамину сестру Зою. Бабушка была в напряженных отношениях со своей матерью, потому что та в сумятице двадцатых годов, будучи уже пожилой дамой, спрыгнула с семейного поезда к молодому маркшейдеру, потом ободранной кошкой вернулась в стойло, муж принял ее кротко и радостно, но моя бабушка никогда не могла ей этого простить. Митя родился много позже истории с маркшейдером, след его давно остыл, но старую беременность матери — своей матери — бабушка каким-то причудливым образом связывала с ее грехом. «Все должно быть в свой час, но идиот может сбить свое время», — говорила она.

Митя — результат сбитого времени.

У пожилой матери не было молока, бабушка, родившая тетю Зою, кормила сразу двух младенцев. Собственная дочь и это «черт-те что». Маленькэ, худенькэ, страшненькэ...

Головку Митя не держал, вес не набирал, глазками не лупал... Знакомая акушерка, взяв Митю за мошонку, сказала, что он вообще неполноценный. «Нема, — сказала, — в йом мужеского».

Я думаю, эти слова — как и слово «идиот» —

были ключевыми. Откуда нам знать, как запускается в нас мотор выживания, но ключ где-то есть, обязательно есть! Некие силы, которые клубились возле хилого тельца и отвечали за «быть или не быть», были оскорблены этим хамским хватанием ребенка за деликатное место. А если тебе — в смысле акушерке — залезть под юбку и смыкнуть за шерсть, хорошо тебе будет? Возмутительно так обращаться с младенцем! И они — силы! — сделали что-то только им известное и раскочегарили Митину печку. Хлопчик пошел в рост, бабушка, уверенная, что сила была в ее молоке, полюбила свое творение нечеловеческой любовью и уже несколько критически смотрела на свою собственную дочь, которая оказалась неспособной употребить на пользу замечательное кормление. И коротконога. И «агу-агу» только с третьего раза понимает. И вообще...

А Митя так и рос у двух матерей. Перекормленный любовью, он сам раздавал ее направо и налево, никого не обходил: ни нищего, ни собаку, ни муху меж стекол, ни траву-лебеду.

— Закохали, — с осуждением говорила моя мама. — Занянчили... Так нельзя.

Весной сорок первого у Мити на освидетельствовании в военкомате нашли каверну. Я хорошо помню панику в доме, отчаяние, ужас. Видимо, поэтому я не помню начала войны. Мне

его подробно описала моя младшая сестра Шура, удивляясь моей невнимательности к такого рода событиям. Я ей объясняла, что с ужасом ждала смерти Мити. В доме тогда снова появилась та самая акушерка (а может, она всегда приходила?), она была глубоко удовлетворена точностью своего дальнобойного прогноза.

— Я ж помню его нежизнеспособную мошонку, — говорила она, — я мальчиков проверяю исключительно так! У меня в пальцах есть опыт.

— Лида! Перестаньте! — кричала бабушка. — При чем тут это? Мошонка, видите ли!.. У него каверна... Это, Лида, совсем в другом месте, чтоб вы знали. Вы принесли столетник?

— А я вам говорю — у мальчиков там все записано! И про каверну тоже. Вот ваш столетник... Мне, что ли, жалко?..

Я дала себе слово: умереть вместе с Митей. Я видела себя лежащей с ним в одном гробу, с белым веночком на голове. Я ложилась на диван напротив трюмо и складывала руки. Сгорбленные на груди косточки пальцев вызывали во мне невероятную к себе жалость. Трудно было удержаться от слез по своей рано загубленной жизни, все-таки лет почти нет, Митя, тот хоть успел прожить почти двадцать — можно сказать, вполне долгая жизнь. А тут

совсем ничего...

Я мучаюсь, я страдаю... Я пропускаю, не заметив начала войны. Видимо, здесь и взошли всходы моего индивидуализма, а также и его крайней формы — солипсизма.

Для Митиного лечения был куплен собачий жир — вдобавок к толстомясому алоэ Лиды. Бабушка варганила смесь по имени «Смерть палочке Коха».

Митя тогда работал после техникума на железной дороге, снимал угол у дальних родственников на узловой станции Никитовка. Узнав о его болезни, хозяева отказали ему в жилье, и Митя, взяв баночку собачьего жира, стал собираться в Ростов, где его должны были положить на поддувание в туберкулезную больницу.

Помню день отъезда. Плач и голос мамы и бабушки, приход Ольки, которая подала Мите для прощального поцелуя краешек уха, а потом все оттирала его и оттирала носовым платком. Помню, как подставили Мите мою голову и он, прикусив мне легонько волосы, сказал:

— Я залатаю эту дырку, птица!

Уже уехала подвода, а они выли над Митей, как над покойником, бабушка и мама. И зря.

Как потом выяснилось, поцеловав меня в макушку, Митя сел в поезд по ходу движения, поэтому успел увидеть (а мог ведь, дурачок, сесть к дороге спиной), как колготится на перроне молодая женщина с узлами и чемоданами, норовя ухватить их все сразу. Митя — как Митя — рванулся человеку на выручку, втащил ее в вагон, да еще к себе в купе и поехал с девушкой со странным именем Фаля навстречу поддуванию, войне, судьбе и, можно даже сказать высокопарно, — смерти.

Я, уже сейчас, полезла в разные справочники, чтоб понять, откуда у нее это имя — Фаля Ивановна. Я ведь ее поначалу звала Валея, пока она, не изломив бровь и не отведя меня в сторону, не объяснила мне, что она — Фаля... «Фэ»...

Я почувствовала ее раздражение не только в изломленной брови, но и в наклоне ее прямой спины ко мне. Откуда ей, Фале, было знать, какой необыкновенной красавицей казалась она мне, как мечтала я, выросши, быть на нее похожей, как заворачивала я свои прямые лохмы за уши, чтоб обуздить свое скуластое лицо, как втягивала внутрь щеки и стучала себя по челюсти: это же надо иметь такие широкие зубы! Тогда как у Ф(Фэ!)али во рту росли белоснежные дынные семечки, мелкие, продолговатые и такие плотненькие, что не заковыряешь никакой спичкой. Когда я бывала

одна, я училась четко произносить букву «Фэ», чтоб даже в быстрой речи она ненароком не выскочила из меня вэ-звук.

Но все это было потом... А пока мама и бабушка бегут навстречу почтальонше, как только та покажется в конце улицы. Причем бегут вдвоем.

Потом, через годы, мама мне объяснила, что они обе ждали плохих известий и как бы хотели (каждая в отдельности) принять удар на себя.

Но писем не было.

А однажды ночью в калитку застучали, и это было уже окончательно плохо, хуже не бывает, потому что ночью приходят только телеграммы.

— Господи! Господи! — шептала бабушка.

— Матерь Божая, спаси и сохрани! — шептала мама.

Обе часто крестились. Сестра Шура смотрела на все громадными глазами, в которых не было ни страха, ни любопытства, а нечто неведомое, нечто устойчивое, которое потом, через многие годы, я назову равнодушием приятя судьбы, она оскорбится, а я начну оправдываться. «Ты же ничему не удивляешься!» — скажу я ей. «Потому что я и так знаю!» — ответит она.

Отдаю ей должное: она действительно много знает заранее.

Мы услышали с улицы крики, но это были крики жизни. В дом вошли Митя и женщина.

— Прошу любить и жаловать! — сказал Митя. — Моя жена Фаля.

Подробности были сногсшибательные. Фаля — врач. Каверна на рентгене не проявляется. Поэтому пока воздержались от поддувания, лечат медикаментозно, а Фаля хоть и хирург, но контролирует.

Тут у меня полная путаница со временем. Шура говорит, что война уже шла и Фаля как раз собиралась на фронт. У меня все сбито, потому что я помню только радость возвращения Мити. Только.

То, что Фаля была врачом, определило легкость вхождения ее в нашу семью. Врачей у нас не было. Были кулаки, пожарники, горные инженеры, химики-технологи, модистки, бухгалтера, учительницы, было отродье — четвероюродная содержанка, которая, к радости семьи, умерла рано, — были верстальщики газет, домохозяйки, музыканты и даже инструктор райкома. Врачей не было, и это, на взгляд бабушки, было признаком недостаточной успешности рода. «Случись что...» — вздыхала бабушка. Диплом врача перевесил немаловажную деталь — Фаля была старше Мити на восемь лет.

Видимо, все-таки уже была война. Хирургам полагалось отправляться на фронт, а стоящие на учете в тубдиспансере и нужные тылу

железнодорожники, естественно, оставались на местах, то есть в тылу.

Но в нашем случае слово «тыл» смысла не имело. Мы были оккупированы сразу.

После женитьбы Митя жил в Ростове, который несколько раз переходил из рук в руки, и была в этом не военная хитрость, как у Кутузова, а нормальная челове-ская нервность, она же дурь. Люди ненавидели немцев, но, когда возвращались наши, чувства подчас возникали аналогичные. Но это а пропо. Невеселое наблюдение над много стреляющим и много убиваемым народом. Он мечется. Он меченый.

Как потом узналось, Митю в Ростове три раза ставили к стенке. Один раз немцы, два раза наши. То, что его не убили, чистая мистика. Немцы прострелили ему левую руку, он упал, а окончательной, как теперь принято говорить, зачистки сделано не было. А еще немцы! Свои во второй Митин раз стрельнули поверх голов — такие же случайные были стрельцы, как и те, что стояли возле стенки, — а в третий раз пуля прямехонько попала в первую немецкую дырку, еще путем не зажившую. Митя снопом рухнул, и его даже чуть не закопали: от болевого шока он был мертвей мертвого. Но там поблизости случилась женщина... Она и выходила Митю стихийно, без медицинской грамоты, отчего левая рука у Мити

плетью висела всю его оставшуюся жизнь, совсем мертвая рука, но как бы и живая тоже.

Фаля приехала к нам уже в конце войны. Ее демобилизовали по ранению. Она не нашла в Ростове Мити, соседи сказали, что его расстреляли, не соврали, между прочим, — откуда им было знать про траекторию полета пули-убийцы и существование близких к могилам сердобольных женщин? Фаля кинулась лицом в подушки, прокричала в них криком и поехала к нам, узнать, как мы и что...

Теперь уже кричала в подушки бабушка, которая про Митю не знала ни сном ни духом и почему-то держала в своей голове возможность Митиной эвакуации: все-таки человек всю жизнь стоял как бы близко к паровозу. Когда все обрыдались и откричали и сели обедать, только тут обратили внимание на то, что у Фали нервный тик на правой половине лица, что уголок ее рта навсегда закрепился в ехидной усмешке, затрудняя общение с ней. На общем собрании семьи, устроенном бабушкой возле уборной, нам всем было приказано не обращать внимания на мимику Фалиного лица, закрывать на нее глаза, а только слушать. Одним словом, при виде Фали нам рекомендовалось временно ослепнуть.

Мама возмутилась:

— Мы что, недоумки, что надо это объяснять?

На что бабушка ответила:

— Мы запустили детей, они растут без понятий. Особенно ты, — и бабушка ткнула в меня пальцем.

Так все и наложилось: на выражение лица Фали моя детская обида на бабушку. Я ведь была хорошая девочка и, между прочим, с понятиями, я для Фали букву «Фэ» учила как ненормальная — за что же меня так? Неизвестно, какие бы из этого выросли букеты, если бы не случилось то, что случилось.

Дальше пойдет рассказ про то, чего я доподлинно ни знать, ни видеть не могла. Может ли быть достаточным основанием для достоверности узенькая прорезь для пуговички на Митиной манжете, которую он не мог победить сам и попросил меня помочь. Я так старалась, пропихивая пуговичку, что у меня замокрело под носом, а Митя сказал:

— Никто уже не скажет, что ты не тужилась в труде. Сопли — сильный аргумент...

— Ничего смешного, — обиделась я. — Тебе что? Некому дырочки разрезать?

Я к тому времени уже «прошла войну» и стала языкатая не по годам, что как раз и не нравилось бабушке. Она же не знала, что я научилась и

другому — не ляпать с бухты-барухты, хотя Мите, как своему, я могла намекнуть, что не все в его жизни складно, если пуговичка в дырочку не пролезает. Я ведь выросла в семье, где соблюдались такие мелочи. У меня до сих пор ими полна голова, и я не могу без отвращения смотреть, как пьют «из горла» прямо на улице. Даже на пропол картошки собирали в беленькую хусточку железные кружки для воды — по числу копающих. Это же надо, какие аристократы долбаные! Пили ведь из мутного ручья, но каждый из своей кружки.

Вспоминаю еще случай с Митей того же времени.

Митя стоял возле уже поминаемой ржавой бочки и как-то печально баламутил воду, а я не удержалась и погладила его бессильно поникшую руку...

— Знаешь, птица, она у меня совсем мертвая, зачем я ее ношу?

— Вылечат, — тоненько пропищала я. — Под салютом всех вождей — вылечат.

— Ну разве что под салютом, — и он мокрой живой рукой прижал меня к себе, и в меня вошло его горе. Почему-то я сразу поняла: не в руке дело. И вообще не про нее речь.

Вот на основании узкой пуговичной прорези и Митиной частичной мертвости я рисую, как это

могло быть.

...Однажды, проснувшись совсем в другом месте, Митя застегнул пуговичку на недвижной левой манжете и пошел к своей новой женщине — подруге-спасительнице, — чтоб она оформила ему правую манжету. Пока та вталкивала пуговичку в узковатую прорезь, Митя вздохнул и сказал:

— Надо бы съездить к Кате. — (Бабушке.) — Живые ли?

— Езжай, — сказала женщина. — Знать надо...

Она стояла и сопела близко, эта женщина, которая нашла его присыпанного и остановилась — а сколько людей прошло до нее мимо? Эта же затормозила, а потом сходила за тачкой и привезла его к себе, и раздела догола во дворе, и смыла с него шлангом человеческую и нечеловеческую грязь, а потом, уже в байковом одеяле, внесла в дом и положила прямо у порога, потому что на большее ее не хватило, внутри у нее вроде как что-то хряпнуло, и она подумала: «Это у меня произошло опущение матки».

Конечно, у Мити была жена Фаля. Она сражалась на фронте за жизнь наших раненых солдат. Что там говорить, какое может быть сравнение — жена-врач-воин и просто женщина с опущенной маткой. У Мити была бабушкина

выучка в отношении к образованию вообще и к медицинскому в частности. Но вы же помните, что выбирал Митя на базаре?

В «момент пуговички» Митя, считайте, и сделал свой окончательный выбор. Поэтому следующая его фраза — «поедем вместе» — и легла в основание трагедии.

Люба — женщину звали Люба — поняла, что значат эти слова. То, что он у нее год как живет, значения не имело и не играло. Многие жили не там и не с тем, с кем положено. Это свойство войны — перебуковать все к чертовой матери, чтоб потом долгие годы метаться и искать, искать и метаться. А потом этим гордиться. Мы по гордости — первые на земле. Я помечу это место и вернусь к нему потом. Надо будет написать негордую статью о гордости. Как, например, Емелька Пугачев гулял со своим воинством по просторам родины чудесной, столько народу перемолотил, но нам тогда позарез надо было тешить гордость и чего-то оттяпать у турок. Кровь лилась из сотен дырок, и изнутри, и снаружи. Опять же Чечня... Шахтеры голодают, пенсионеры ходят в кастрюлях на голове, но мы ведь еще не все чеченские дома разбомбили, чтоб было потом чем гордиться.

Что-то меня заносит в сторону, а не надо. Надо переступить через кровь. Надо возвращаться к месту и действию.

Дом Мити и Фали в Ростове был разбомблен, хотя именно их квартира пострадала меньше других. Но Митя, оставаясь у Любы, упирал именно на то, что дом разбомблен, а то, что квартира цела, он как бы опускал. Пусть там кто-то живет, пусть. Такое время, когда человек яко наг, яко благ, а у него ведь и крыша, и Люба. Что он, алчный какой-нибудь, чтоб хватать и хватать?

Кстати, так все и было. Люди захватили Митину квартиру, но не те, у которых ничего не было, а совсем другие. И поездка к нам на самом деле была вторым Фалиным делом, а первым было освобождение захваченной территории, что Фаля и сделала вполне профессионально. Война, она все-таки закаляет характер.

Но опять вернемся к «моменту пуговички». Люба как раз это сделала, всунула ее в дырочку, а Митя сказал «поедем вместе», что было равносильно «давай поженимся», иначе чего это ради тащить ее к родне? Надо сказать, что у Любы были правильные понятия, и она спросила Митю, не стыдно ли это при существовании жены. Видимо, конечно, не этими словами сказала Люба, а как-то иначе, но важна суть. Мысль Любы о Фале. И Митя, добрая душа, возьми и ляпни:

— Чует мое сердце — погибла она, — сказал он. — Ну ни одной же строчечки за всю войну, а мы

ведь уже Киев обратно взяли, из двадцати четырех орудий салют был. Не из двенадцати. Столица ведь...

Митя и потом много говорил про взятие Киева, сидит-сидит, а потом ни с того ни с сего... Что-то его беспокоило, саднило в этом вопросе, я теперь думаю, это пошло с того момента, когда он осознал, что — Господи, прости! — он как бы бессознательно хочет, чтоб Фаля не было, а была Люба, не вообще, а в его жизни, но мысль эта подлая не давала покоя совести, и на язык выползал Киев как сигнал этой самой едучей совести.

Они с Любой сели в рабочий поезд — существовали тогда такие местные поездочки, что, копя и чадя, бегали между городками и деревеньками, выполняя воистину рабочую миссию коммуникации.

И вот они уже идут по нашей улице, как шерочка с машерочкой, а бабушка стоит возле калитки, глаза под козырьком ладони, стоит и думает: что это за чужая пара прется со стороны станции в нашем направлении? Ну, вчера к нам приехала Фаля, это понятно, а к кому же эти двое?

Потом бабушка говорила, что она Митю узнала сразу, но вырвала с корнем эту мысль, потому как Фаля вчера рассказала про расстрел и сегодня лежала на диване, укрытая пуховым платком, и только-только как задремала. Этот ведь

шел с бабой.

Пара неуклонно приближалась, и уже не было сомнения, что это был Митя, и бабушке бы криком закричать и кинуться к любимому брату — мало ли кто к нему в дороге притулился, может, Митя просто подносит женщине чемоданчик, как человек отзывчивый, — но бабушка потом сказала:

— Я чула... Чула...

В смысле — чувствовала.

— Катя! — первым тонко вскрикнул Митя уже считай у калитки, на что бабушка как бы не в лад ответила:

— Тише! Фаля отдыхает.

Бабушка одним махом перечеркнула войну, взятие Киева и форсирование Днепра, тик Фали и долгое отсутствие Мити и его поникшую руку. Она, как отважный радист, соединила траченные жизнью концы, ну и что ты теперь будешь делать, женщина, если ты не случайная попутчица, а приехала с Митей и со своим смыслом?

В это время Фаля подскочила к окошку, потому как услышала тонкий Митин голос, и, конечно, во-первых, во-вторых и в-третьих увидела Любу. И она видела, как бабушка взяла в свои руки всю ситуацию, а в зубы концы проводов. Все-таки, что ни говори, война учила быть генералами, и некоторые считали возможным и правильным жертв не считать, хотя другие — немногие —

предпочитали спасать людей ценой обмана, хитрости, да мало ли чего.

Спасать или погубить — это не гносеологический вопрос для нашего народа, твердо знающего ответ: надо погубить. Поэтому ход мысли бабушки и ее поступок были исторически безупречны.

Она увела Любу с ее котомочкой к своей знакомой через три дома, которая была ей обязана. В свое время, в тот самый не к ночи помянутый тридцать седьмой, бабушка прятала ее сына, когда в очередной раз решался вопрос погубления. Бабушка продержала парня в погребе две недели, а потом ночью вывезла его на бричке, как мусор, набросав сверху живого тела какие-то банки и тряпки.

— Иди к жене! — громко сказала бабушка Мите, продолжая держать во рту концы искрящихся проводов. — Иди, она с ума сойдет от радости.

Услышав это, Фаля прыгнула на диван и зажмурила глаза, готовясь к изображению радостного сумасшествия, а Любу как под конвоем отвели к Митрофановне.

— А до тэбэ гости! — закричала ей бабушка на всю улицу. — Шукают тэбэ.

— Это чтоб всем-всем-всем объяснить явление чужого человека.

Ведь еще война, еще половина народа потеряна, кто ж не поверит, что кто-то кого-то ищет и, случается, находит.

— Я потом приду, — сказала она Любе, у которой от ужаса и стыда снова схватило в животе, она согнулась прямо до земли, до самых пахучих цветочков Митрофановны.

В нашем же доме были крики радости и удивления, и Митя плакал горячими слезами, увидев, как током бьется Фалина щека и как в ехидном уголке рта взбивается пенкой слюна.

Фаля не призналась, что видела в окне женщину, остальные не признались тем более.

Так как именно я толклась в центре событий, мне было повторено особо: женщина — Митина попутчица, она племянница Митрофановны. Беженка.

Мите и Фале было постелено на большой кровати, на которой после смерти дедушки никто не спал. Бабушка тогда сразу ушла на деревянный топчан в кухню, мои родители хотели было занять главное и лучшее место в доме, но бабушка их окоротила.

Завязался конфликт между бабушкой и мамой, и уже теперь я думаю: а с чего это она, бабушка, так упиралась? Зачем ей надо было сохранять парадную кровать под белым марселевым одеялом

и с пышными подушками, укрытыми тюлевой накидкой? Что в этом было? И чего в этом не было? Я не знаю ответа. Но было как было: для Мити и Фали одеяло было сдернуто.

Очень пригодилась для вязи отношений в первый момент Митина бесполезная рука. Вокруг нее очень хорошо клубился разговор, и в какой-то момент у Мити от всеобщего к нему сочувствия, видимо, с души спало. Выйдя покурить на крыльцо, он с глубоким чувством сказал мне:

— Все-таки, птица, она инвалид лица.

И я поняла: Митя сходил на базар и сделал выбор.

В ту ночь мы не спали все, потому что бывшая в долгом неупотреблении кровать так бесстыдно скрипела и квакала, так ухала и ахала, что бабушка забрала меня к себе в кухню, и поэтому я знаю, что ночью она уходила. Вернулась холодная и мокрая, так как прошел дождик, но бабушка даже не заметила этого, потому что так и рухнула рядом со мной. Ночь высвечивала ее профиль, совсем не монетный, не римский, а вполне, вполне наш, отечественный, и я слышала, именно слышала, как у нее болит и мается душа. Мне хотелось ее защитить, и я думала — как? Ну как? Придумала: надо, чтобы уехала Фаля. Навсегда.

Почему в моем детском мозгу возник именно этот вариант решения проблемы, не знаю, не ведаю. Я ведь когда-то хотела быть похожей на нее, я училась четко произносить букву «Фэ», мне и потом было ее жалко, жалко ее красоты, но такую я уже не могла ее любить, потому что я человек неважный, я «на внешнюю красоту падкая, не интересуюсь внутренним содержанием, мне бы лишь сверкало». Так объясняла мне меня бабушка.

Но Фаля не уехала. Они решили погостить и гостили. Не знаю, когда исчезла от Митрофановны беженка, но как собирались на это деньги, знаю. Это по тем временам был трудный вопрос, и я думаю, именно тогда бабушка лишилась двубортного синего драпового пальто, к которому все прилипало, но почему-то это объяснялось высоким качеством материи.

Истинному как бы полагалось быть плоховатым. Это только искусственное с виду «ах!», но надо же понимать суть вещей. Взять хотя бы человека... И человека брали. На его конкретном примере — некрасивый, сутулый, штаны в латках — делалось обобщение: добрый, отзывчивый, скромный. Чем хуже, тем лучше — такой была проистекающая из жизненных наблюдений мысль.

И шилось коричневое платье, и из жидких сеченых волос плелись мышинные коски — ах, какая

скромная девочка, любо-дорого посмотреть. Не то что...

Вспомнилось, и защемило, и шандарахнуло — такой я и осталась, чего уж там делать вид, что не так...

Митя объяснил Фале свое отсутствие в собственной, не разбомбленной врагами квартире в Ростове. Контузией объяснил и пребывание в бессознательности у каких-то стариков, которые открыли ему душу, как родному сыну.

В сущности, почти правда. Просто Любу повысили в возрасте, чине и звании и удвоили ее количество. Но неужели во время такой войны кто-то будет проверять подробности?

А потом они уехали. Бабушка широко перекрестилась, как только они исчезли за поворотом.

— Ты думаешь, из этого выйдет толк? — спросила ее мама. — По-моему Фалька что-то унюхала. Митя ведь изнутри подраненный...

— Ничего, — сказала бабушка. — Загоется. Та ему не пара. Я с ней поговорила. Она даже семилетки не имеет.

— Ты считаешь не на те деньги, — закричала мама. И я знала, что ее крик был оттого, что мама сама недоучка, по бабушкиным понятиям.

Кончилась война, и как-то без передышки наступила голодуха. Нас подкармливал Митя — привозил вяленую рыбу, после которой до барабанного живота мы все наливались водой.

А Митя как раз выглядел хорошо.

— Ты справный, — с удовлетворением говорила бабушка.

Митю все еще держали на учете по туберкулезу, но больше для порядка. Было даже взято под сомнение существование довоенной каверны. Бабушка объясняла все это наличием медика в семье. Видимо, бабушке нужен был сильный оправдательный аргумент ее генеральского подвига тогда, ночью.

Аргумент был. Справность Мити.

Правда, был и контраргумент.

Отсутствие в отбитой в бою семье ребенка. Тут-то и возникала арифметика. Восемь лет разницы плюс война давали в окончательном итоге вполне приличный возраст, когда уже как бы не рождают. Но бабушка тут же вспоминала свою грешную мать — получалось, что у Фали есть еще запас времени.

Вот когда нам пригождаются «отдельные случаи», те, что из ряда вон. Осуждаемая в одно историческое время, в другое историческое прабабка стала примером и, можно сказать,

стимулом.

Это было время, когда семья затаила мысль. Не против Мити — ни Боже мой! слишком он был любим, — а против обстоятельств жизни вокруг него, кои были, куда ни верти, обстоятельствами женщин.

— Еще бы! — в какой уж раз возмущалась бабушка. — Идет, а он лежит. Наверняка там были и другие подраненные, но эта ведь не подвиг совершала, чтоб одного за другим вытащить, эта взяла нашего дурака, потому что у него на лице написано: вей из меня веревки.

Бабушка боялась близкого расстояния от Ростова до того места. Тем более что Митя опять работал на железной дороге, а значит, всегда был при паровозе.

— Этих линий проложили без ума, будь они прокляты! — шептала бабушка.

Железнодорожный прогресс ложился поперек представлений бабушки о Митином благополучии. Пройдет много, много лет, и я с некоторым отвращением буду смотреть на блики цветомузыки в темной комнате дочери и буду гнусно подозревать ее компанию во всех смертных. И о Скрябине в такие минуты я думаю, что он провокатор. С него пошло-поехало. Блики, блики... Блики... Моргание жизни...

Но надо вернуться во вчерашнюю воду...

Та послевоенная голодуха была для нашей семьи даже потяжелее войны. Нет, никто не умер, слабое не выдержало в другом месте.

Молочная сестра Мити Зоя, которая была в роду как бы существом несколько бракованным, возьми и уйди в баптисты. Задумчивая, не очень способная в учении, боязливая с мужчинами женщина расцвела в обретенном братстве как цветок.

Еще до войны бабушка устроила ее в швейную мастерскую в другом городе. Это было трудное, но для семьи необходимое решение — отделить недоброкачественный побег от подрастающего. Я и Шура были причиной отделения Зои. Мы не могли у нее научиться ничему хорошему, потому как Зоя читать не читала, чуток заговаривалась и — что там говорить — была дурковата. А дети такие впечатлительные и из всего переймут именно дурь.

Бабушка ездила к Зое каждую неделю, платила за комнату, которую та снимала у старухи, жившей исключительно с огорода, и деньги, даваемые ей из рук в руки, казались почти дармовыми, потому как комнатка за занавеской цены, на ее взгляд, не имела.

Зачем нам нужна Зоя?

Зоя — знак некоего «другого ума», который возьми и проявись в здоровом, нормальном роду. Если за фокусами природы надо слеживаться и изучать их, то фокусы провидения должно принимать безропотно. Мы еще не дожили до еврейской мудрости благодарить Бога за посланный тебе или твоим близким «другой ум», но не дожили — так не дожили. Я подозреваю, что евреи тоже горюют по поводу бракованного дитяти, но делают вид радости. Наша чертова фанаберия мешает нам поступать столь же разумно. И хотя бы делать вид.

Но вернемся к Зое, которая примкнула к баптистам, запела тоненьким высоким голосом, слетала вместе с ним на небко, а когда вернулась, то оказалась счастливой.

Другой ум. Другое счастье.

Конечно, был и оставался путь пойти на баптистов войной, дивиденды по тем временам могли быть приличные, но бабушка увидела счастье в не замутненном суетой глазе дочери и стала его охранять. И счастье. И баптистов.

Вот и пригодился Митин паровоз. Бегала от Ростова «кукушечка» напрямик к Зое. И попросила бабушка Митю приезжать к ней и среди недели, чтоб в сумме получилось два контрольных посещения. И из головы у нее вон, что бежал паровозик «мимо гребли, мимо млына», что в переводе означает — мимо места, где Митю

однажды недострелили и где по-прежнему жила некая особа.

Бабушка как бы напрочь забыла те свои мысли о неправильности проложения дорог. Опять и снова возникает думка о нашей внутренней изворотливости, о том, что мыслим мы то так, то эдак, не угрызаясь внутренней противоречивостью. А может, все дело в том, что Митя жил далеко и, по слухам, хорошо, и воспоминания о женщине Любе мутнели и мутнели в памяти. Так думала бабушка.

И между прочим — зря...

Митя сошел-таки с поезда и пошел по степи, которая вполне могла скрыть идущих по ней мужчину и женщину. Но пока еще Митя шел один...

В тот день, а может, близко к нему лежащий Фаля пошла к гинекологу, потому что у нее были перебои и мазня. Фаля, дама образованная, конечно, сразу подумала про плохое. Мите она ничего не сказала, к гинекологу вошла прямо в медицинском халате, решительно, без всяких там цирлих-манирлих.

— Я прошла через бои, — сказала она, взбираясь на дыбу.

Гинеколог, пожилая еврейка, потерявшая всю свою семью, потому что не успела ее вывести из

Кременчуга, бой как таковой не считала самым большим несчастьем в жизни. Несчастье, когда деток малых везут в душегубках, — вот несчастье, которому нет равных. А теперь ей уже не родить никогда в жизни, хотя — казалось бы — она так близко стоит к месту, где за началом человечества послеживают. Поэтому эта, в халате, из хирургии, могла не говорить слова «прошла бои» — нашла чем испугать. Но, глядя в глубины Фали, отнюдь уже не сочные и малоплодородные, эта зазнавшаяся в своем горе женщина вдруг испытала толчок и последующее трясение всего организма. Она увидела завязь жизни там, где, по ее разумению, ее уже быть не могло. Быстрый профессиональный глаз запомнил год рождения Фали на медицинской карте и то, что между ними был всего год разницы.

Тут надо остановиться и оглянуться. Та библейская Сарра, которая начала рожальное дело в годы, до которых у нас не доживают, конечно же, была выдумкой истории. Даже сильно, можно сказать, истово верующие вряд ли воспринимают это всерьез. На всякий случай прости меня, Господи! Прости... Ну, не ведаю, не ведаю, что молочу... Так вот, та Сарра была нонсенс и для гинекологов. Мою прабабушку она не знала. Светлана же Сталина была еще молодая, еще любила папу, и ей на ум не могло прийти, что она

родит, пусть не как Сарра, но все равно под пятьдесят и от американца. То было время женщин войны, которые сорок лет считали нормальным концом бабьей жизни. Конечно, шпалы были еще не все положены, их предстояло таскать — не перетаскать, и на это женщины оставались вполне и вполне гожие, что ярко, одним махом показала Нонна Мордюкова в фильме «Русский проект», взяла да и сказала, какие мы есть. Теперь долби, искусство, долби в другом месте. Тут уже скошено. Или добыто. Одним словом, пусто.

Вернемся в гинекологическое кресло — главное место действия.

— Вы беременны, — пронзительно сказала врач. — И вам немедленно надо лечь на сохранение.

Потом они обе поплакали, пациентка и врач. Одна о том, что случилось, другая о том, чего нет и вряд ли будет. Хотя именно сейчас у врача возникла мысль: может, не надо так уж отбиваться от вдового начальника оorsa, а использовать его как шанс? В конце концов, чем она хуже этой?

Фаля легла в больницу сразу, не помыв даже дома посуду и не дождавшись Мити, который где-то там что-то инспектировал.

А Митя как раз шел по дороге и думал, что если во дворе у Любы будет мужской след, то он

пройдет мимо, и все. Другое же будет дело, если следа не обнаружится. Тогда он стукнет в окошко там или в дверь, куда потянется рука.

Но разобраться было трудно. Двор был в порядке. Те женщины не только клали шпалы, они ставили печки, рубили дрова и поправляли покос дверей. Они все умели, и в этом было спасение страны и ее же извечное горе.

Вернувшийся с войны мужик, удивленный скорбно-стью и безрадостностью пейзажа всей жизни, находил единственное утешение в магазине, в котором весьма часто не было ничего, но водка на родине была всегда. Как береза. Тут выплывает из тумана мысль. А не будь наши женщины ломовыми лошадьми и забрось они чепец за мельницу с криком: «А не желаю я класть шпалы! У меня для этого тело нежное, и я не допущу его гнобить!» — так вот, закричи они так, пошел бы процесс или не пошел? Пришли бы мы к полному одичанию или иванушки наши сподобились бы? Мысль эта грешная, потому как замахивается на самую основу первооснов, что чревато, как говорится... Поэтому уйдем подальше от выплывающих из тумана мыслей и идей.

Женщины деревни выстрелили глазом в Митю, который вальяжно, как какой-нибудь интеллигент в шляпе, прошагал по улице сначала в

одну сторону, потом в другую, потом опять в первую и наконец толкнул калитку Любки, бабы, ломанной любовью и предательством.

Рассказывали так.

...Поехала она на погляд к родным парня, которого вынула из мертвой кучи людей, а те ее и на порог не пустили. Там была подлая старая сука (моя бабушка!). Она и вынесла Любке мятые в жмене гроши — это, мол, тебе спасибо, но мордой ты для нас не вышла, мы все из ученого роду-племени, у нас за столом не едят из одной миски, а ты вся из себя рубль двадцать, и кожа у тебя тресканая. И будто старая сука (моя бабушка!), показала Любке свои белые руки, по которым вилась-бежала голубая жилка... Ну какие у тебя, женщина, могут быть преимущества су-против нашей венозной крови?

Митя тогда переступил не только порог Любы, он переступил легенду одним, что называется махом.

На всю деревню закричала женщина дикой счастливой горлицей, не имеющей понятия о тайности греха.

Так оно и пошло: жизнь в два ряда. Одна — наполненная смыслом сохранения ребенка и другая — смыслом, предшествующим по природе

первому. Конечно, Фаля потеряла бдительность относительно Мити, а за ним водилось всякое-разное. То какой-нибудь хромоногой поможет войти в трамвай, а дальше возникает необходимость помочь выйти. В трамвае это важный момент. Глядишь, и припозднится... А то еще был случай: красавица глухонемая. Вернее, красавица левым боком, потому что правый был слегка обожжен в детстве, от детского испуга и глухота, и теперь по правой стороне лица женщина спускала каштановые волосы, что модным тогда не было и осуждалось народом, который считал: какая есть, такая и живи. Правильным считалось горб носить честно. Так вот, Митя прошел бы и не глянул на красоту, а как увидел мятую щеку, двинул следом. Извращенец, по-нынешнему. И еще были разные некондиционные женщины, хотя кто их считал? Впрочем, Фаля считала.

Но тут в отделении на сохранении она про все это забыла. Она думала, что ей очень повезло в том смысле, что ребеночек родится, когда ей полных будет тридцать девять, а то, что до сорока всего месяц, то это уже не ваше собачье дело.

Ее регулярно навещала еврейка-гинеколог — оказывается, ее звали Саррой, бывают же такие совпадения. Сарра уже вошла в близкий контакт с начальником орска и ждала счастья начала новой жизни, где уже не будет душегубок и мученической

смерти детей. Так как в дальнейшем нам это не понадобится, скажем сразу: Сарра родила девочку, назвала ее Светланой — в знак светлости задуманной жизни, а не в честь дочери Сталина.

Когда волею судеб мы коснемся еврейской темы — а без этого нам не обойтись, — Сарры уже не будет в живых. Она умрет далеко отсюда — умрет в тот момент, когда по телевизору скажут, что взорвался рейсовый автобус в Тель-Авиве. Саррина семья не ездила этим автобусом, и вообще они жили в Беер-Шеве, но не по той дороге побежала в мозг старой женщины страшная информация, причудливым образом она столкнулась со старой душегубкой той прошлой войны, и Сарра стала оплакивать своих детей и внуков, которые радостно бибикали на полу. Но она не признала их, живых, а признала тех, мертвых.

И тут что хочешь, то и думай... Проще, конечно, не думать. Что нам Сарра? Наши нервы крепче. Свое живое на чужое мертвое в нашей голове вряд ли подменится.

А пока мы находимся на этапе сохранения беременности и даже отсутствия ее у Сарры, и я с чистой совестью могу их оставить в этом состоянии и перейти к Мите, любимому Мите и его молочной сестре Зое.